

ДАНИЭЛЬ ОРЛОВ



БОРОДА

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА “ЧЕСНОК”

Нужен, очень нужен был отпуск. Он жил только предвкушением девятнадцати дней отпуска. Он дышал этим отпуском с самой слякотной зимы, когда договорился с Иваном Шмидтом, что приедет к нему в Крым, на университетскую базу. И теперь в фантазиях ему виделся серый, в крупную крошку, асфальт дороги на обсерваторию, туман над ставком, яркие белые отроги корабельной квесты. Вот он спускается от Прохладного до Твердохлебовки, срывает пыльные неспелые плоды растущих по обочинам абрикосовых деревьев. И в воздухе сладко от мелиссы, чабреца и лаванды.

...База геофака уютно пряталась в распадке между двумя вершинками в Прохладном, несколькими километрами выше по путаной дороге от Твердохлебовки. Всё это пространство от Бахчисарая и до Партизанского водохранилища, от Новопавловки и до верховьев Бодрака называлось “Полигон” и ещё в начале пятидесятых годов двадцатого века было определено для организации учебной практики геологических вузов огромной страны. В семидесятые, когда Борода только пошёл в школу, здесь уже копошились студенты полусотни институтов и техникумов. Однажды, листая альбом семейных фотографий, он обнаружил снимок отца. Тот, голый по пояс, с трубой магнитометра в руках стоял на ступенях мраморного карьера Баклинской квесты. Кажется, там отец и закадрил мать — студентку ленинградского горно-го. Династия.

ОРЛОВ Даниэль Всеволодович родился в 1969 году в Ленинграде. Окончил Геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. До середины 90-х работал в геофизических партиях. Как прозаик дебютировал в 2005 году. Автор романов "Долгая нота", "Саша слышит самолёты", "Чеснок". Лауреат премии им. Н. В. Гоголя. Живёт в Петербурге.

Борода любил свою первую специальность. Ему и сейчас нет-нет да и снилось, что пробирается он узкой тропой над обрывом северной реки в рекогносцировочном маршруте. Или спешит с прибором по каменистому плато над морем, от одного колышка пикета до другого, и никак не может записать измерение, всё возвращается и возвращается на предыдущий пикет. И там всякий раз новое значение. То цифры прибор показывает несуществующие, то вдруг понимает он, что прибор в руках незнакомый, и Бог знает, что он вообще измеряет. И ясно лишь, что надо торопиться, пока не стемнело, не пошёл дождь, и не настало время сдачи презентаций по новым комплексам на проверку коррупционной составляющей в департамент общих вопросов. И делается ему от того душно. И он просыпается, лежит некоторое время с открытыми глазами, а потом идёт на кухню пить холодную воду из огромной пластиковой бутылки.

Борода не стал заказывать билет на самолёт. Это казалось до обидного простым: спуститься в гулкий подземный переход под Ленинским проспектом, в котором сотовый телефон всегда теряет сеть, выйти напротив академии Генштаба, сесть в шестьсот одиннадцатый автобус и через двадцать четыре минуты быть уже Внуково. И останется только миновать стоянку таксомоторов, пройти внешнюю зону досмотра международного зала, зарегистрироваться на стойке и потом кемарить в седьмом гейте, поставив чемодан возле стойки бара. И вовсе уже не ждать, когда позовут на посадку, а только сдувать пену с кружки разливного пива “Miller”. Через полтора часа Симферополь. Взлёт-посадка. Скука.

Нет. Так нечестно. Так Крым не даётся. В Крым, как в юности, надо идти пешком, по пыли и босыми ногами, а потом сидеть на придорожном камне, словно Христос на картине Крамского. А если не пешком, то хотя бы ехать двое суток в душном купе плацкартного вагона, чтобы шумело и пахло. Чтобы в Воронеже у торговки взять горячей картошки с укропом, в Харькове — стаканчик харьковского мороженого и тёплого пива “Оболонь”. И уже на подъезде к Темрюку сторговать за пятьсот рублей пол-литровую банку обманной икры не то у цыганок, не то у гречанок, не то просто у безымянных сирен, вдруг заполонивших собой вагон, чтобы, как и две тысячи лет назад, в шуршании юбок спрятать скрип рессор боевых колесниц кочевников и звон перевязи их мечей.

Ай-ай! Куда ты катишься, мир? Куда тебя несёт? Вот и наступили последние времена, взошла над девятым микрорайоном Тёплого Стана звезда Польнь, Ангел вострубил в скрипе тележек всех супермаркетов, конь бледный заржал и выбил копытом — стук да стук! — не то алмаз, не то гибель миру из каменного лба Гряды на Полярном Урале. Цой воскрес и записал новый альбом. И оказалось, что альбом тот — дрянь несусветная. И будь ты хоть член совета директоров али ещё какой мытарь или рыбак, а только и останется, что рыдать и идти по дорогам. И камо ты, милоч, грядеши?

“Иди к Юлечке, она тебя поставит на довольствие”, — оракул, простая инструкция-истина. Только к Юлечке. Куда ещё? Никуда. Кто та загадочная Юлечка, к которой его послал Иван? Пусть это будет дама под шестьдесят или девочка восемнадцати лет. Какая разница? Иван не уточнил, значит, это для него и мира было не так важно. Сказал и убежал открывать душевые или закрывать душевые. Борода не расслышал, уши заложил.

Он сидел в тени лещины возле мемориальной стелы, смотрел на подъём-тягун, дорогу, согнутую в складку от поворота на обсерваторию до самых ворот базы, и катал во рту вот это: “поставит на довольствие”. Сосредоточенная оса-наездник дрейфовала от локтя до запястья, не решалась ни укусить, ни улететь.

Утром, поезд ещё только подкрадывался к симферопольскому перрону, как позвонил возбуждённый Иван и нервным матом прокричал в трубку, что застрял в мастерской. Пришлось Бороде ехать до Почтового. Пустая, необязательная станция за Симферополем, где на весь перегретый похмельный состав вдоль вагонов ходило только пять бабок-хлопотуний с варёной прошлогодней кукурузой и пивом. Кроме Бороды, из поезда здесь никто не вышел.

Проводница подняла тяжёлую платформу, протёрла тряпкой поручень и пожелала хорошего отпуска. Борода поблагодарил, попрощался и спустился по ступенькам. Солнце уже пекло. Он, не торгуясь, купил кукурузу, уселся верхом на чемодан и с наслаждением впился зубами в початок. Позвонили из офиса. Борода терпеливо объяснил, где взять нужные документы, поблагодарил за очередное дежурное “хорошо отдохнуть”, дал отбой, и уже через секунду запыхавшийся Иван тискал его в объятиях, то и дело тыча кулаком в живот: “Потолстел, бродяга! Заматерел!”

Они пересекли пути, вышли к дороге и сели в стоящую в тени акации “Ниву”. Борода с трудом узнал в полном, лысом, с красной шеей дядьке за рулём разбитного интинского шофёра Витьку, который каждый год возил их с мужиками из пятьдесят второй партии на вокзал и обратно. Витька звался теперь Митричем и работал у Ивана на базе завхозом. Всю дорогу до Твердохлебовки, пока Шмидт болтал о пустяках, поил друга хересом, разливая ароматный напиток в целлулоидные стаканчики из тёмно-коричневой бутылки, Витька молчал и лишь время от времени хмыкал, соглашаясь. К девяти часам утра Борода почувствовал себя не то что пьяным, а по-студенчески бухим и оттого счастливым.

Они остановились напротив магазина в Скалистом — последнем равнинном селе. Дальше начинался подъём. Шмидт поспешил к распахнутым ставням местной хлебопекарни за свежими булочками. Борода, путаясь в ремнях безопасности, вылез с заднего сиденья Витькиной “Нивы”, закурил и прислонился к шершавому стволу абрикосового дерева. Отсюда уже можно было рассмотреть нависшие над домами белые обрывы Баклинской квесты, похожие на комки застывшего ноздреватого теста в потёках глазурь. В гудении пчелы совсем просто представлялось, что это от Баклы пахнет сдобой, изюмом, табаком и нагретым сырым камнем. И он стоял, прикрыв глаза, следя за тем, как солнечные зайчики пытаются проскочить между век прямо в память, пока ловкая тень птицы не схватила одного из них из-под самых ног Бороды, чтобы тут же вернуться в клубок к остальным теням.

Борода проходил учебную практику в Крыму позже остального курса, уже отслужив в армии. В тот и предыдущий годы в Скалистом, в Твердохлебовке, вдоль Баклы и вокруг Белой горки заново отстраивались вернувшиеся из Средней Азии татары. Выдавшие виды “ЗИЛки” по несколько раз на дню громыхали мимо палаток кузовами, гружённые жёлтым крымским ракушечником. Из такого испокон веков возводили дома в Крыму те, кто позажиточней. Татары вернулись с деньгами, полученными от продажи жилья в Средней Азии, и торопились до зимы встать под крышу.

Тот, кто спешно построился за прошлую осень, кто на горбыль прибил старый шифер, чтобы укрыть им дома, кто прожил зиму с печками-буржуйками, спешно сваренными из жестяных бочек, и в мороз и мокрый снег бегал по нужде в ямы, пробитые ломами да кирками в известняке, в этом году уже гнал небольшие отары овец по верхней дороге, на пустовавшие более сорока лет пастбища. Выходцы с Украины, поселившиеся в горном Крыму, в основном после войны, предпочитали коз, и не больше трёх на двор, выпускали их пастись рядом со своими заборами, чтобы скотина была на виду. Русские держали коров. Каждое утро мимо базы шло большое стадо, почти из каждого двора прибавляясь неторопливой бурёнкой. Стадо бурлило коричневым потоком по долине Бодрака, пересекало реку и потом, словно разлившись в долине, паслось под склонами Корабельной квесты или за яблоневыми садами вдоль дороги на Бахчисарай.

Студентами они редко покупали у местных молоко. Тратить деньги на что-либо, кроме алкоголя и табака, казалось непростительным расточительством. Вряд ли когда-то было иначе. Молоко — для детства. А их детство, вдруг охнув прыщами, только подмигнуло отрочеством, чтобы вдруг всё в мире оказалось пронизано желанием и уже лопалось, как налитая соком ягода, не посмевавшая выстояться в доброе вино. Юность выпивалась брагой или, разве что, молодым бурлящим, полным пузырьков игристым вином. Выпивалась залпом.

— Борода-Борода, — рассмеялась красивая, тонкая, как листик, лаборантка Юля. — Я думала, действительно, борода... А тут так, бородёнка. Даже меньше, чем у Кеши вашего или вон, у Ивана Сергеевича.

Борода в замешательстве потёр подбородок. Он гордился своей густой пепельной от седины щетиной. Иногда девушки замечали, что она делает его похожим на Хемингуэя. Это было немодное сходство, но когда так говорили, Бороде больше нравилось, нежели когда замечали, что он похож на американца Клуни. “Лучше быть как пьяница-писатель, нежели как пьяница-киноактёр”, — говорил он. А тут вдруг “бородёнка”...

Борода неуклюже отшутился.

— И выпивший с самого утра, — поморщила Юля аккуратный татарский носик. — Студентов бы, Всеволод Константинович, постеснялись. Тут не санаторий, тут учебная база, говорят, мол, аудитория на свежем воздухе.

Чувствовалось, что ей нравилось смотреть, как лицо мужчины, значительно старше её, заливают краска смущения.

— Пьёте портвейн из горлышка, не закусываете, словно вам двадцать лет. Какой пример подаёте молодому поколению отечественных учёных? А у нас на базе иностранных специалисты из Польши и Германии. Ай-ай-ай! — продолжала девушка с плохо скрываемой иронией.

— Отвратительный пример, Юлия, — Борода демонстративно подошёл к списку преподавателей, висевшему на стенде, нашёл среди прочих единственную Юлию, лаборанта и по слогам прочёл: — Фа-ри-тов-на. — Плохой пример, Юлия Фаритовна. Обещаю исправиться, изжить недостойные привычки и через день предстать перед вами в чистой рубашке и пахнущим дорогой парфюмерией. Разрешите выполнять?

Вошёл Иван. Послушал, погрел чем-то в шкафу, вынул тяжёлую геологическую рулетку, положил перед девушкой и, опершись на стол, заметил с укоризной:

— Хватит, Хабибулина, издеваться над людьми. Лучше возьми с Всеволода Константиновича за питание, выдай талоны, объясни, как на базе работает душ, и попроси тётю Катю покормить нашего гостя завтраком.

— Так завтрак давно закончился, Иван Сергеевич.

— Вот ты и попроси. У них должно что-то остаться. А ты, Борода, постroje с ней, постroje. Эта шпана распустилась за две недели на свежем воздухе и черешне. Сама только весной магистерскую защитила, а уже заслуженных людей учит уму-разуму.

И уже опять повернувшись к девушке:

— Брысь на кухню, говорю! Торопись, пока тётя Катя не ушла и столовую не закрыла!

Девушка, хихикнув, выбежала из преподавательской.

— Хорошая, — Борода улыбнулся и кивнул на дверь.

— Все они хорошие, только студентов в маршруты водить некому. Полигона толком не знают. Приходится стариканам отдуваться да мне, вместо того чтобы с бухгалтером дебет с кредитом сводить, бегать по опорным разрезам. Я теперь тут начальник, администратор. Я не преподаватель. И моя забота — не студенты, а чтобы продукты закупили вовремя, базу к приезду санитарной инспекции подготовили, проверку из ректората прошли. Ещё автобус для учебной экскурсии заказать, очистные сооружения поставить на учёт, с москвичами договориться о совместных лекциях. Но беру рулетку, геологический молоток и веду группу Владлена Теофиловича.

— Он жив ещё? — удивился Борода, представив сутулый силуэт их старого профессора с кафедры исторической геологии.

— Типун тебе на язык! — округлил глаза Иван. — Слёг третьего дня с гипертоническим кризом. А так огурцом! Ну, пролежит неделю, пока жара и дождей нет, а потом опять в маршрут. А так, конечно, повезло, кайфует в доме и целыми днями смотрит чемпионат по футболу. Кстати, не желаешь группу вывести? Был же хорошим геологом. Помнишь что-нибудь, кроме марок портвейна?

Ответить Борода не успел. Телефон в кармане задрожал, высветив на экране номер приёмной генерального. Борода снял трубку. Взволнованный

голос ассистента директора просил прояснить ситуацию с проклятым комплексом на Борисовских прудах. Борода долго и подробно отвечал на вопросы, приводил цифры, перечислял сотрудников, которые в курсе дел, пока сам он в отпуске. Ассистент был дотошен, и когда закончились вопросы, Бороде показалось, что тот всё равно не удовлетворён, хотя поблагодарил и повесил трубку. Борода с сожалением взглянул на телефон и сунул его в карман брюк. Он не любил, когда его беспокоили во время отпуска или на выходных. Но в фирме так было принято.

Поселился Борода там же, где Иван, у бабушки Анны, в белом домике с синей дверью, только в дальней комнате. Вставал рано, делал гимнастику, варил себе и Ивану кофе на походной плитке. Потом они вместе шли завтракать на базу. Днём Борода бродил по окрестностям. Пару раз выбирался на море в Песчаное. Но оба раза штормило, потому искупаться толком не удалось. Часовая поездка в раскалённом китайском автобусе, дребезжащем каждой железякой и воняющем соляркой, его не вдохновила, и он, как и многие тут, предпочёл купаться в пресных ставках на Мангуше либо в Скалистом на карере.

Он много читал. Иногда устраивался в уютной тени от плетёного навеса посреди двора Анны и кемарил над раскрытой книгой. Хозяйка в такие часы старалась не шуметь, позволяла гостю отдохнуть, сама уходила в прохладу дома, где не то просто лежала, не то спала с открытыми глазами, пока солнце не начинало пускать зайчики в выходящие на дорогу окна. И только телефонные звонки, через которые то и дело в послеобеденный зной или вечернюю прохладу горного Крыма вторгалась Москва с её далёкой и уже кажущейся не столь важной суетой, не позволяли Бороде чувствовать, что это место его счастья.

Места, где накачивает счастье и вдохновение, помнишь всегда. Борода был счастлив на берегу океана, на белой полоске тонкого, пушистого песка бесконечного пляжа Варадеро. Его охватывал восторг на Елисейских полях, где, непонятно от чего, он плакал, от счастья или от аллергии на цветенье платанов. Но Бороде случалось замереть от ощущения благодати и в наспех натянутой на полусгнивший каркас брезентовой палатке, облепленной с подветренной стороны комарами, а с другой стороны вовсю поливаемой мелким дождём. Он помнил прокуренный поколениями бродяг диван в гостинице маленького городка, ненужного даже собственным жителям, мечтающим, чтобы он провалился сквозь землю в кипящую магму вместе со своими пыльными обочинами, облупившейся краской стен горсовета и водонапорной башней. А Борода проснулся однажды на том диване, выдохнул вчерашний алкоголь, задыхал заново, часто и почувствовал себя другим, новым, влюблённым в мир, в этот диван, в эту рыжую филёнчатую дверь, в дзинь-звон-дребезг штапика с той стороны рамы.

Вот и сейчас он лежал в тени плетёного навеса, вспоминал и не мог вспомнить, почему ему казалась столь важной его никчёмная жизнь. И в самом деле — почему? Ведь была квартира на юго-западе столицы, сквозняк, похожий на ответственного квартиросъёмщика, взимающий плату и перечисляющий её куда-то в сторону Внуково, где поднимаются в небо вместе с мольбами маленькие серебристые крестики самолётов. Был странный, многобашенный, крепостной, острожный квартал, построенный к Олимпиаде на месте уютной деревушки, что вполне уживалась и с речкой, бегущей от комаров Тёплого Стана, и с дорогой, пылящей между пригородами уже тогда большого города. И оставалось только запереть на ключ металлическую дверь, из-под которой дуют те сквозняки, пройти по коридору с отвалившимися, но веками живущими на своих местах плитками, спуститься на лифте на первый этаж, протолкнуться мимо временной ярмарки с картохой, мёдом, скумбрией и белорусскими трусами и лечь на скамейку возле баскетбольной площадки: смотреть в небо, в котором из одних только облаков можно сочинить целый мир. А вокруг пусть гудят шмели, звякают звонки детских велосипедов, трещит перфоратор на первом этаже отделения полиции, шаркают старушки, и местные алкоголики громкой восторженной струёй возвещают миру о том, что до сих пор живы.

В равнинном Никулино когда-то первыми чуяли, что в Рождество пекут пироги. Ради тех пирогов только и растапливали в августе огромные русские печи, накидывали дымка в разнотравье осеннего Подмосковья. И аромат сдобы и яблок закручивался в пружинки-спиральки, сжимался ветром возле церкви Архангела Михаила и потом путался с пчелиным гудом где-то во фруктовых садах пологого склона Тропарёвского холма, где селяне примостились отдохнуть подле стоящих на земле мешков, полных пряных яблок. Они прикладывали ко лбу ладонь, чтобы защититься от закатного солнца и видели там слева, на том склоне, у самой Рождественской церкви дымок от топящейся в августовскую жару печи. И тепло от той печи до сих неправедных и неправильных бездельных времён привозит с первого на десятый этаж лифт. И на весь этаж пахнет сдобой, испечённой за сотню лет до того, как места эти потеряли невинность. Это ли не счастье? Да. Если его заметить.

Вечерами в столовую к огромному экрану телевизора набивались студенты смотреть чемпионат Европы по футболу. Борода футбол не любил. Он никогда не понимал азарта игры и чурался страсти болельщиков. А после того, как сам порабатал большим начальником в спортивной газете, испытывал к футболу отвращение. Как-то после ужина Борода сидел в преподавательской, потягивал из гранёного стакана сладкий мускатель и играл в шахматы с Хабибулиной. Хабибулина играла средне, где-то на уровне любителя, в то время как Борода был кандидатом в мастера и чувствовал на доске своё преимущество. От этого он даже передвигал фигуры с некоторой ленцой. Хабибулина горячилась и ошибалась. Вначале она заблудилась в собственном гамбите и зевнула слона, а потом безуспешно пыталась выстроить что-то вроде защиты Спасского, то и дело извиняясь и перехаживая.

Из столовой доносились крики студентов и преподавателей. Объявили перерыв. Студенты высыпали во двор курить. Шмидт, возбуждённый игрой, вбежал в преподавательскую, вытянул откуда-то из-за книг бутылку мадеры, захлопнул дверь, чтобы не глазели студенты, зубами вытащил пробку и налил себе в стакан.

— Наши выиграют. Точно выиграют. Чувствую, — выпалил он, выпил залпом и снова налил. — После футбола в теннис сразимся. Хабибулина, я тебя сегодня сделаю, — Иван погрозил девушке пальцем, поставил стакан и бутылку на подоконник, закрыл занавеской и выбежал из преподавательской.

— Сделает он. Видали таких, делавших, — фыркнула Хабибулина, зевнула слона, через ход — ферзя и, расстроенная, встала из-за стола. — Приходите, Всеволод Константинович, играть в теннис. Умеете?

В последний раз Борода держал ракетку на курорте в Турции, и ему показалось, что получалось неплохо. Он собрал шахматы в коробку, выключил в преподавательской свет и, прежде чем выйти, достал из-за занавески бутылку мадеры и сделал несколько глотков прямо из горлышка.

Шарик перескакивал с одной стороны стола на другую, похожий в свете прожектора на большую яркую искру. Из колонок, укрепленных по обе стороны летней камералки, играл “Мэссив Атак”. Борода нагибался почти к самому столу, закручивал и закручивал подачи, но всякий раз Хабибулина срезала их точными, резкими ударами, которые он конечно же пропускал. И неясно, проигрывал он оттого, что выпил лишку, или оттого, что никогда на самом деле не умел играть в пинг-понг. Трансляция закончилась, и скоро из столовой к столу стали подтягиваться студенты. Они садились на склон возле палаток, вставали вдоль летней камералки, скрестив руки на груди, занимали ступеньки лабораторий и музея.

Хабибулина была безжалостна. Бороде стало неловко, что он проигрывает. А девушка не оставляла ему шансов. Наконец, в третьей партии она растерзала его одиннадцать-два. Борода положил ракетку и сел на ступеньку гидрогеологической лаборатории. Тот, кто после него встал к столу, тоже проигрывал, пусть и не с таким разгромным счётом. Следующий тоже. Следующий. Следующий. Появился Иван, посмотрел на то, как Юля Хабибулина

откуда-то из-под стола достаёт самые мудрёные подачи, и, дождавшись, когда отошёл очередной проигравший, взял ракетку.

Иван попросил несколько подач, чтобы разыграться, получил согласие и подбросил шарик над столом. Они начали аккуратно, словно знали силу друг друга и не спешили показывать свою. Но уже через минуту лихо закрученные подачи принимались чуть ли не от самой земли, чтобы быть вновь срезанными и вновь отражёнными. Начали счёт. Это была игра на равных. Иван держал ракетку вертикальной хваткой, ручкой вверх, чередуя откидку с подставкой, выжидая, когда соперница увлечётся ритмом, чтобы вдруг выстрелить топс-ударом или жёстким накатом и вырвать очередное очко. Студенты одобрительно гудели. Девушки в основном болели за Хабибулину, парни — за Ивана.

В сражении Ивана с Хабибулиной Бороде вдруг померещилось что-то большее, нежели просто стуканье по шарiku. В азарте игры он вдруг увидел другую страсть, и пьяная ревность вмиг вскипятила в крови смесь мадеры и мускателя. Он вскочил со ступенек, страхнул с себя наваждение, потёр виски. На его место с хихиканьем тотчас уселись две девушки.

Повинуясь порыву, Борода широкими шагами миновал здание столовой и почти бегом припустил по верхней дорожке между палатками и летними домиками-камералками. Домики освещали фонари на высоких столбах. За третьим Борода свернул в тень и устремился вверх по тропе, ведущей на Университетскую горку, мимо волейбольной площадки, на которой днём паслись коровы. Там, наверху, находилось небольшое плато, где поколениями студенты играли в футбол. Борода не обращал внимания на одышку, на то, как колотится сердце, шёл и шёл, пока не поднялся на перегиб. Тут он сделал несколько шагов в сторону от тропы и, согнув колени, рухнул в разнотравье горного Крыма. Борода не рассчитал и рассадил локти о мелкие камушки. Поле брызнуло кузнечиками, колко оцарапавшими лицо и улетевшими в ночное небо, где они сразу затерялись посередь летнего хаоса созвездий.

Борода лежал и слушал, как за мостом через Бодрак всхрапывает перегазовкой двигатель местного лихача. Снизу, сквозь стрёкот цикад, долетали кручёные целлулоидные звуки пинг-понга. Пахло лавандой, мелиссой и полынью. В кармане вибрировал и вибрировал телефон. И над всем этим царила угадываемая под блёклым пульсом Млечного Пути Корабельная квеста, похожая сразу на plombированные зубы в деснах мангровых зарослей и на спящего великана.

Где-то здесь двадцать лет назад, под цоканье целлулоидного шарика, он уже лежал бок о бок с Оленькой на синем казённом одеяле, ошеломлённый случившимся, и ждал, что вот-вот упадёт звезда, чтобы загадать одно на двоих желание. Но кончались сигареты, звезда не падала, и Бороде уже просто хотелось в туалет.

После они прожили два года необязательной для двоих жизни. Он на два года раньше неё закончил учебу и поступил в аспирантуру. Писал диссертацию, а она ещё продолжала ездить на производственные практики. Они оба уезжали весной и оба возвращались осенью. И за это время она успевала измениться. Всякий раз, вернувшись, он обнимал новую женщину, которую не знал раньше. Им опять следовало знакомиться заново. И Борода никак не мог понять, как сделать так, чтобы вновь понравиться ей с первого взгляда, на первом же свидании. Так у него и не получилось.

Каждая история, которая с ним случалась потом, была историей нелюбви.

Назавтра пришёл долгожданный циклон и два дня поливал долину Бодрака ливнями. Студенты возвращались из маршрутов мокрые и все в глине. На третий день опять появилось солнце. Когда позвонил Иван, Борода сидел в преподавательской и чинил чайник.

Иван выматерился в трубку, простонал, что дал студенту нести рюкзак с рулетками, а тот забыл поклажу возле ворот базы на скамейке.

— Скажи Хабибулиной, чтобы закрывала преподавательскую и срочно не сла нам рулетки. К тому времени, как дойдёт, мы будем на мергелях синомана, за перекрёстком на Прохладное. Там, где копролиты. Она это место знает.

Борода хорошо помнил мергеля перед ореховым садом. Однажды по дороге с того края полигона их с Оленькой застал в маршруте ливень. За несколько минут дорога превратилась в бурлящий поток, несший палки и мелкие камни. Пришлось подняться на склон и там переждать, обнявшись и держа над головой рубашку Бороды. Он помнил острые бугорки сосков, ясно видимые под мокрой футболкой однокуреницы. Грохотало и в небе, и в голове. Страсть природы шипела в иглах крымской сосны. Обоих бил озноб. Оба ещё думали, что от холода.

Он передал Хабибулиной просьбу Ивана и вызвался составить ей компанию до мергелей. Девушка смерила его с ног до головы насмешливым взглядом.

— Главное, Всеволод Константинович, не развалитесь по дороге с непривычки.

Он в шутку показал Хабибулиной кулак. Та убежала к себе в палатку переодеваться, а Борода отправился к воротам базы. На скамейке напротив геофизической лаборатории, в тени акаций, устроился профессор Кузнецов и прозванивал тестером цепь вариационной станции. Рядом действительно лежал пухлый капроновый рюкзак. Борода поздоровался и сел напротив профессора.

— Что рожа кислая? — спросил Кузнецов, видимо найдя сгоревший резистор, и ехидно улыбнулся. — Похмелье что ли, отпускник?

— Похмелья нет. Потерял смысл жизни, — пошутил Борода.

— И не найдёшь, если живёшь среди бессмысленных людей, — рассмеялся Кузнецов, наклонился и почесал за ухом лохматого кабыздоха, свернувшегося в клубок под скамейкой в тени хозяйских ног.

— Ну, это вы зря, Игорь Иванович. Обычные все люди, делом своим заняты, — Борода закурил свёрнутую из голландского табака сигарету и выпустил вверх струйку ароматного дыма.

Кузнецов поморщился.

— Не знают, ради чего живут. Москва эта ваша — огромный город, полный людей, забывших, зачем родились на свет. Отцы знали, деды знали, а эти — уже нет. Ходят-бродят, как шатуны, от магазина к магазину, всё никак не могут купить, что им нужно.

Борода рассмеялся неожиданной метафоре, решив, что Кузнецов шутит. Он любил старого профессора. Пока был студентом, конечно, побаивался, а после, когда поступил в аспирантуру да стал завсегдатаем на кафедральных пьянках, понял, что старик — милейший человек. Однако слова Кузнецова показались обидными.

— Ты мне, Севка, пять раз зачёт сдавал по теории поля, — сказал вдруг Кузнецов, прищурился и посмотрел на Бороду в упор. — Под конец просто подпись в зачётке подделал. Я ещё из ума не выжил, заметил. Заметил, но в деканате промолчал, надеялся, что из тебя путное что получится.

— Вот и получилось, — улыбнулся Борода.

— Ты ведь умница был, — профессор пропустил его слова мимо ушей. — На практику в сложные поля ездил, материалы для курсовых привозил — любо-дорого смотреть: бери и полностью вставляй в кандидатскую. А теперь превратился в записного бездельника.

Борода смехом попытался скрыть неловкость.

— Ты сейчас кем работаешь? — Кузнецов, почти не моргая, смотрел на Бороду в упор.

— Директором.

— Понятно, что директором. В какой отрасли? Делаешь что?

— Сейчас девелопмент, строительство, иными словами. Раньше в пищевой промышленности работал, ну, и в рекламе, в издательстве. Да мне всё равно, чем заниматься, — небрежно, но с гордостью произнёс Борода, — принципы одни и те же.

— Принципы, — нараспев проговорил Кузнецов, — должны быть вот здесь, — он показал рукой на грудь. — Мы раньше тех, кто ради денег батрачит, всерьёз не принимали. Бросовые людишки, мелочь. Пусть и талантами обладают, но если думают лишь о том, как больше заработать, держись

от таких подалеже. Предадут. Продадут. А теперь ничего, считается нормальным, даже за доблесть. У меня дочка журнал выписывает, я иногда заглядываю. Там, не особо стесняясь, рассказывают и графики рисуют, как надо выжимать из людей все соки. В журнале! По-русски!

Кузнецов, словно призывая небеса в свидетели, поднял палец вверх.

— Вот ведь где неправда вся. Раньше спросишь человека: “Кем работаешь?” Он ответит, мол, геологом или строителем, или врачом, или биологом, или ещё каким корабелем. Специальность свою назовёт, а не должность, будь он хоть трижды директор института или завода. Специальность — это смысл существования, возможность реализовать мечту, талант. Делай своё дело, остальное — по труду и по справедливости. А теперь, — Кузнецов шлёпнул ладонью по скамейке. Пёс поднял голову и сонно посмотрел на Бороду. — Сегодня он геолог, послезавтра — аптекарь, на следующей неделе — строитель, а через год — аграрий. Как такое может быть?

Борода молчал.

— Потому что работают не по совести, — сам ответил профессор на свой вопрос. — Не ради дела трудятся, не ради блага людей, а чтобы карманы набить. Ради того и слова придумали, чтобы старые грехи обозвать. Пишут только не на заборах, а в журналах и говорят всему честному люду по телящичку. Ты телек смотришь?

Борода отрицательно покачал головой.

— Что-то вы мне, Игорь Иванович, всё это в лоб. Словно только повода ждали.

— Ждал, — признался Кузнецов, — Здесь из ваших, из инопланетян, нет никого. Потом, конечно, появятся. А сейчас нет. Сейчас студенты думают, как сдать мне магниторазведку и теорию поля, а не о том, как принести прибыль Мистеру Твистеру. Иди уже. Зовут тебя.

Кузнецов кивнул головой в сторону магазина и вновь углубился во внутренности прибора, давая понять, что больше разговаривать не намерен. Внизу у остановки стояла Хабибулина и махала рукой, наверное, она спустилась другой тропинкой. Борода попрощался и заторопился вниз.

Они прошли по колдобинам Садовой улицы к задкам Твердохлебовки и дальше, по дороге, которой раньше гоняли стада колхоза имени Чапаева мимо насосной станции. К середине июня Бодрак сильно обмелел. Две недели без дождей, и реку переходили по камушкам, даже не замочив сандалий. Но после вчерашнего ливня уровень реки снова поднялся.

Начинало припекать. У самого поворота дороги по обнажению аргиллитовой брекчии ползали студенты Московского университета с рулеткой и геологическими молотками. Молодая симпатичная преподавательница сидела в стороне, обмахивалась полевым журналом, как веером, и монотонно, чуть нараспев читала лекцию.

— Выходы аргиллитовой брекчии пробиты интрузией. Возраст брекчии — средняя юра, байозский ярус. На настоящий момент это самый представительный из известных на полигоне выход яруса, потому используется для построения опорных разрезов. Некоторые особо умные студенты, слыша слово “интрузия”, пугают его с силлом. Однако силл — это интрузия, внедрённая между пластами, а поскольку перед нами брекчия, никаких стратиграфических выводов сделать нельзя. Силла внутри брекчии не может быть по определению, как не бывает мяса в сосисках, которые вы покупаете в дешёвом магазине.

Преподавательница была незнакомая, но как было заведено между своими на полигоне, Борода и Хабибулина поздоровались:

— Привет москвичам!

Женщина закрылась ладонью от солнца, посмотрела, кто это, не узнала, но помахала в ответ. Они пошли мимо жалких остатков фруктового сада, высаженного по оврагу Шары в шестидесятые и когда-то дававшего прекрасный урожай абрикосов. Но за двадцать пять лет, что Борода сюда не приезжал, сад пришёл в запустение. Большая часть деревьев засохла, а остальные одичали. Между их сутулыми стволами уныло бродило несколько овец.

В середине сада дорога устремлялась вверх и дальше пролегла по террасе. Хабибулина остановилась, подняла из пыли чуть зеленоватый камень и протянула спутнику.

— Помните, что это такое?

Борода взял образец, протёр в ладони. Видны были грани кристалла.

— Силикат. Что-то из пироксенов?

Хабибулина смотрела на него, склонив голову набок, и улыбалась.

Он почесал щетину на щеке и вдруг вспомнил то, что, казалось, помнить был не должен. Нечто однажды услышанное и благополучно забытое за ненужностью.

— Авгит! — просиял Борода. — Из силла Карановского.

Хабибулина рассмеялась и показала рукой наверх, где среди мака, мелиссы и чабреца проступала серо-зелёная полоска какой-то небольшой скалки.

— Вот он, силл Карановского. Оказывается, геофизиков раньше тоже чему-то учили.

А Борода любил оставленную профессию. Когда-то он был хорошим геологом, может, и не таким замечательным, как Шмидт или Дейнега, но ничуть не хуже, нежели Илюха или какой-нибудь Генка, его однокурсники.

Он вспомнил силлы в Таврической свите, вверх по течению Бодрака, на южном краю полигона, километрах в семи от деревни, уже за Мангушем. Студентами их водил туда Владлен Теофилович и даже устраивал временный выкидной лагерь. Сложно сказать, что было важнее, — съёмка этого участка или то, что они спали в обнимку с девочками по четверо в двухместных палатках, готовили кашу на костре, а ночью голыми нежились в тёплых ванночках, за тысячелетия выточенных говорливыми водами Бодрака во флише. Теперь больше вспоминались ванночки, девочки и подгорелая каша, нежели наука.

Дорога повернула резко вверх, и скоро они выбрались к Ленинградскому ставку, в котором купались ещё студентами. Теперь ставок стоял сухой. Его каменистое дно поросло хруплявником, а возле огромной глыбы останца торчали похожие на кристаллы соцветия ворсянки.

У самого склона над травой виднелся небольшой обелиск-кубик из мшанкового известняка. Борода подошёл ближе. На камне сверху лежало несколько сухих букетиков полевых цветов, перевязанных цветными тряпочками.

— Могила геолога, — голосом экскурсовода произнесла Хабибулина. — Среди студентов есть поверье, что если перед зачётом принести букетик, собранный на горке за базой, предварительно связать их полоской от ткани с занавесок из камералки, где будет зачёт, тогда геолог поможет. Говорят, десятые занавески меняют, всё на ленточки ушло.

Буквы на выветренном, с годами поросшем лишайником кубике теперь были не различимы, но Борода и так помнил, что там написано: “На этом месте погиб студент ЛГУ”. Дальше шли имя и фамилия их с Иваном однокурсника по прозвищу Борзый. Случилось это в тот год, когда Борода отправился служить в войска, а весь остальной курс — на учебную практику в Крым. Узнал Борода о гибели товарища только осенью из письма Шмидта. Иван писал, что всё произошло в день приезда. Вечером парни побежали купаться на ставок. Нырjali с олистолитовой глыбы, ныне стоящей одинокой скалой. Вынырнули все, кроме Борзого. Тот разбежался, прыгнул в воду и тут же всплыл спиной вверх. Остановилось сердце. За него на факультетских пьянках годами поднимали, не чокаясь, второй тост. Потом в небесной партии только прибывало и прибывало, всех уже было невозможно перечислить по именам. Но Борзый был первым. Борода сам устанавливал этот камень вместе с Иваном и Кешей в девяностом. Раньше обелиск был обнесён оградкой. Но теперь даже следов не осталось, видимо, её сдали в пункт приёма металла.

Он постоял немного над этим местом, шевеля губами, пока ушедшая далеко вперёд Хабибулина не начала свистеть и махать ему. Тогда дотронулся до камня и поспешил за спутницей. После ставка дорога петляла в густой тени крымской сосны, которой ещё в конце пятидесятых плотно засадили искусственные террасы, прорезавшие все горы в округе.

Борода девушку догонять не стал, шёл сзади в отдалении, невесело прокручивая в голове разговор с Кузнецовым. И чем больше он вспоминал собственные слова, тем больше испытывал стыд. Вроде как поймали на списывании. Год за годом списывали у кого попало и не пойми что. Списывали, сдавали и получали отметки. А вот так начини проверять — у всех окажутся одни ошибки: все обманули, все списали.

Дорога тем временем шла вдоль узкой, успевшей выгореть до бурого цвета долиной с красными брызгами дикого мака. Опять проснулся телефон.

— Жена? — с отчаянным безразличием спросила Хабибулина, которая вдруг остановилась и решила подождать.

— По работе.

— Почему не отвечаешь?

Борода пожал плечами и улыбнулся, глядя девушке в глаза. Он заметил, что Хабибулина вдруг перешла на “ты”.

— Знаешь, что это? — он показал рукой вниз. По обе стороны от дороги в траве белели тысячи и тысячи ракушек башневидной улитки.

По удивлению на её лице он догадался, что девушка раньше их не замечала.

— Их очень много. Почему так?

— Это обычно над тем местом, где на поверхность выходит толща мергеля. Может быть, питаются чем-то или мимикрируют. Можно даже более-менее точно зарисовать слои на карте.

— И как?

— Что как? — Борода не понял.

— Ну, если можно зарисовать, то рисуют?

— А я не знаю. Наши — нет, а москвичи, — может быть. Они же эти, — он вспомнил Кузнецова, — инопланетяне какие-то.

Дальше пошли рядом, поднялись на водораздел Бодрака и Чурук-Су, речки, берущей начало в долине Ашлама-Дере, и выбрались из тени. Здесь дорога раздваивалась. Если свернуть направо, то, наверное, можно было бы обойти густо поросший сосной и кедром Беш-Кош с другой стороны, но Борода и Хабибулина знали только левый путь. Нужно было идти вверх, прямо через поле, а начиналось самое пекло.

Минут через пятнадцать они добрались до перекрестка дорог, одна из которых вела на Прохладное, а другая уходила дальше, огибая Беш-Кош слева. С непривычки к долгим переходам и от жары Бороду подташнивало. Впереди показалась белая скала Чуфут-Кале с нависшей над ней тучей. После очередной петли на спуске они увидели студентов, копающихся в выходах мергелей прямо посреди дороги. В чашке тени дикой алычи сидел Иван. Борода плюхнулся рядом, снял с головы платок и вытер им пот с лица. Хабибулина пошла к студентам, смотреть на копролиты.

— А я знал, что тоже придёшь, — сказал Иван и протянул Бороде пластиковую бутылку с водой, из которой тот с жадностью отпил несколько глотков. — Хорошая девушка. Ты ей, кстати, понравился, хотя в настольный теннис играть совершенно не умеешь.

— С чего ты взял, что понравился? То есть, почему не умею играть? Перебрал в тот раз, координация нарушилась. — Бороде стало неловко, что Шмидт заметил его симпатию к Хабибулиной.

Иван хмыкнул и шлёпнул ладонью по коленке друга.

— Подаёшь, как попало. Так, словно не хочешь выиграть. Делаешь вид, что тебя не волнует, чем кончится игра. И в жизни, братец, у тебя точно так же всё. Тебе не всё равно, а показываешь, что безразлично. И наоборот, вроде и наплевать на что-то, а театрально изображаешь, что очень для тебя это важно. Даже не знаю, что хуже.

— Мне сегодня Кузнецов дал понять, что я неправильно живу, — рассмеялся Борода.

— Кто знает, как правильно, — Иван задумался, пожевал и выплюнул травинку. — Может быть, и нет никакого “правильно”. Главное, чтобы счастливо. Ты счастлив?

Борода промолчал.

— То-то и оно.

Иван вынул из принесённого рюкзака рулетки, геологические компасы, поднялся и вдруг заорал:

— Так! Группа, слушаем меня! Это синоманский ярус. Определяйте углы падения пластов, понимайте, что мы имеем дело с другим крылом качинского поднятия, после чего измеряйте мощность обнажения. Всё должно быть отражено в пикетажах. Быстро, господа студенты! Ещё есть шанс не опоздать к обеду.

Люди, что остались в Москве, те, что по несколько раз на дню тщетно пытались дозвониться до Бороды, сказать что-то, спросить, дать указания или просто поскандальить, за следующие две недели стали видаться вовсе игрушечными, маленькими, словно невсамделишными. Уже и не верилось, что когда-то ему не приходилось приседать на корточки, чтобы расслышать, что они говорят. И разве же это были настоящие люди?

Ночью он просыпался, зажигал настольную лампу, слушал цикад или сверчков, или какое-то иное шумное насекомое, которое на юге по привычке называют цикадой. Он раскрывал книжку, читал несколько страниц и потом просто лежал на кровати, вверх перины из трех стёганных ватных матрасов, укрытый лёгким одеялом, в незапамятные времена сшитым хозяйкой из разноцветных лоскутов. Лежал и разглядывал стену напротив, где на тканом коврике олени выходили из леса. Олени выходили из леса, а он слушал стрёкот за окном, дышал в макушку спящей Хабибулиной и понимал, что уже спасся. Вот-вот затихнет за поворотом грохот огромного товарного состава с пустыми вагонами, олень с этого коврика выйдет на железнодорожные пути, принохается к дёгтю, дёрнет ушами, отгоняя мошку, и медленно спустится по насыпи на другую сторону, чтобы скрыться в мангровых зарослях у Корабельной квесты.